

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В открытом поле ветер едва не сбивал с ног, бросал в лицо холодные капли. Проходя перекрёсток дорог — на Лепёшки и Песты, — Воята Задор, новый молодой паромонарь¹ Власьевой церкви Сумежского погоста, надвинул шапку поглубже, чтобы закрыть уши. И всё равно услышал: где-то рядом раздавался младенческий плач.

Вздвогнув от неожиданности, Воята остановился и оглянулся: позади бредёт какая-то баба с дитём? Но никого не увидел — на всей протяжённости дороги через сжатое ржаное поле, до самого леса, не было ни единой живой души, ни человека, ни пса. Только вихри крутили палые листья и всякий травяной сор. Кому тут ходить в эту пору? Холодно, слякотно, ветер пронимает даже через толстую свиту валяной шерсти. Он и сам сейчас лучше бы возле печи сидел, а баба Параскева шила и рассказывала что-нибудь занятное про здешнюю старинную жизнь... Да нет, отец Касьян в Видомлю послал, деревню за семь вёрст, де-

¹ Паромонарь — более близкое к греческому оригиналу написание слова «пономарь»: мирянин, исполняющий разные вспомогательные обязанности в храме, привратник, чтец. (Здесь и далее примечания автора.)

скать, Ксинофонт Хвош ему уж три года две резаны не отдаёт, сходи взыщи...

Воята снова двинулся по дороге, но не прошёл и трёх шагов, как младенческий плач раздался снова, гораздо ближе и яснее. Воята ещё раз огляделся, пошарил глазами по земле. Сырая пожня, больше ничего.

Плач шёл от кучи веток у обочины. Подойдя вплотную, Воята оглядел прикрытый ветками небольшой бугорок и аж передёрнулся: неужели кто-то бросил в поле младенца да ветками закидал? Кто ж такой злыдень? Девка, может, родила беззаконно? От возмущения стало жарко, даже холод и ветер забылись.

Живо наклонившись, Воята поднял и отбросил одну ветку, другую...

Под ветками проглянула влажная земля, уже слезавшаяся, топорщилась отсыревшая стерня.

Плач звучал прямо из-под земли, из-под этих вот комьев с торчащими соломинками.

В замешательстве Воята отшатнулся. Жар сменился ознобом, сорочка показалась ледяной. Он застыл в шаге от бугорка, стиснул зубы, невольно ухватился за крест на груди.

— Господи, помилуй!

Плач всё не унимался. Он звучал совершенно ясно, лишь чуть приглушенный толщей земли. Казалось, надывается голодный младенец, засыпанный на глубину с ладонь, не больше.

Боже святой, но как... Землю, уже прибитую дождями, с отпечатками толстых веток, которыми прикрывали малюсенький холмик, явно копали не вчера, не третьёва дня... Не может живой младенец неделю и больше лежать под землёй...

А неживой?

Невидимые пронзительно-холодные пальцы прошлись по затылку, по шее, пощекотали спину. Воята передёрнул

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

плечами и ещё раз безотчётно перекрестился. Потом ещё раз. Плач не прекращался. Воята сглотнул, пытаясь справиться с мыслями. От холода застучали зубы, стало душно, будто это он сам — маленький комочек плоти, лежащий под грудой промёрзшей, влажной, тяжёлой земли.

«Холодно, холодно!» — пискнул в ухо, сзади и сверху, тонкий жалобный голосок.

Воята резко развернулся — никого, само собой, не увидел.

«Холодно, люди добрые! — заныло уже у другого уха. — Положила меня мати голенькую, даже пелёночки не дала! Ой-о-ой!»

Невидимая маленькая девочка жалобно плакала где-то позади, но сколько Воята ни вертелся, ни увидеть её, ни уйти от голоса не удавалось. Опомнившись, он сделал несколько быстрых шагов по дороге. Но плач только усилился, переходя в визг, — в нём звучали отчаяние, возмущение, гнев.

«Ни пелёночки! Ни лоскуточка! Ни единой ниточки!» — кричал тоненький детский голосок, и Воята себя самого ощущал голеньким младенцем, брошенным посреди поля на верную смерть, голодную и холодную...

На погибель души...

Да вот же в чём дело!

Глубоко вдохнув, Воята шагнул обратно к бугорку. Плач немного поутих: не прекратился, но в нём теперь слышалось ожидание.

Не отрывая глаз от бугорка, Воята пошарил по поясу, нашёл нож, вынул, откинул полу свиты. Натянул подол сорочки, вспорол плотную льняную ткань и с трудом, наполовину отрезал, наполовину оторвал лоскут меньше ладони. Жалко новой сорочки, но ничего другого нет под рукой.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! — хрипло выкрикнул он в сторону бугорка.

Разом стало легче, вернулась уверенность и светлое чувство, с которым он читал в церкви.

— Коли ты мужеска пола, то будь Иван! — чисто для порядка сказал Воята, хотя уже знал, что никакой это не Иван. — А коли женского — будь Марья!

И бросил доскут от рубахи на бугорок.

Ветер подхватил его — прямо вырвал из рук, не дав коснуться земли, и мигом унёс.

Плаксивый голос всхлипнул ещё раз, переводя дух, и затих. Сквозь завывания ветра, по-прежнему бесившегося между тучами и полем, души Вояты коснулась тёплая, ласковая тишина, напоённая нездешними ароматами. Будто раскрылись где-то рядом ворота незримого сада, пропускающая спасённую младенческую душу, и закрылись опять. Но ощущение тепла осталось, задержалось под суконной свитой, крепко обняло Вояту, будто в благодарность.

Медленно он убрал нож обратно в ножны на поясе. Подошёл, пошевелил ногой оставшиеся несколько веток на бугорке. Отбросил их прочь — уже не нужны. Теперь это просто бугорок, чуть крупнее кротовины. Не будет под ним больше плакать.

Рубаху жалко. Матушка собирала, причитала: кто же тебе, дитяtko, в этом Сумежье сорочки-то помоет, залатает? Найдётся ли добрая душа?

Ну да ладно. Воята хмыкнул: пусть-ка теперь Павшина баба ему новую сорочку поднесёт за это дело...

* * *

«Господину архиепископу новгородскому владыке Мартирию сумежане, Великославльской волости, тебе, господарю, челом бьют от мала до велика...»

Писарь читал, стоя над ворохом сегодняшних грамот. Архиепископ медленно прохаживался по горнице, заложив руки за спину, — устал сидеть. Владыка Мартирий лишь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

три года назад достиг возраста, когда допустимо епископское посвящение¹; был он чуть выше среднего роста, прям станом и худощав, отчего казался более рослым, чем был на самом деле. Стоял жаркий летний день, мухи жужжали возле забранного слюдой оконца, со двора пахло сеном. Полосы солнечного света лежали на половицах и сами казались липкими и тягучими, как светлый мёд. С близкой Софийской площади доносился гомон торжища.

— «Как поп наш Горгоний наглой смертью умре, так и стоит Власьева церковь Сумежского погоста без пения уж второе лето...»

— Постой! — Архиепископ знаком остановил Гостяту. — Сам прочти: опять они за своё? Попа себе просят? Я ж писал им — нету у меня для вас попа! Присылайте дьяка, поставлю его попом.

— Так у них, господине, нету дьяка. Отец Горгоний раньше дьяком был, его ещё прежний владыка, Дионисий, попом к Святому Власию поставил.

— А в другом приходе? Великославльская волость же большая, сколько там, десять погостов?

— Десятину платят с десяти погостов, а церкви только две поставлены: Власьева в Сумежье, где волостной погост, и Николина — в Марогоще. У Власия служил отец Горгоний, у Николы — Касьян. И пути между ними на весь день.

— Что говоришь? — Архиепископ наклонился, не дослышав.

— Пути между ними день!

— Да что же такое? — Владыка в досаде оглянулся на дверь. — Поди узнай, что там за крик?

Гостята, ещё довольно молодой мирянин, положил грамоту от сумежан в кучу других и с охотой направился к лестнице. В сенях внизу раздавался гомон, нарушающий покой в архиепископских палатах близ Святой Софии нов-

¹ То есть пятидесяти лет.

городской. Даже мух заглушил. Прозвучал голос Гостяты, привычно водворяющий порядок; ему отвечало, перебивая друг друга, несколько других.

Вот Гостята вернулся; видно было, что недавно смеялся. Поклонился, придавая лицу сдержанное и скромное выражение.

— Там, господине, отроки посадничьи с торгу привели... — Он всё же не удержался и фыркнул в рукав. — Воятку Задора, попа Тимофея сына, что у Святой Богородицы в Людином конце. Подрался с одним, с Миронегова двора. Рассудишь их или пусть пока в погребке посадят?

— Попа Тимофея сын? Ну, давай его сюда.

Архиепископ уселся в резное кресло и сложил руки. Он сам был рад передохнуть от грамот. И не лень же людям драться в жару такую!

В палату вошёл посадничий десятский, поклонился.

— Тут, господине, попович с Людина конца. На торгу драку учинил с Микешкой Косым, и горшки ещё побили. Мы было взяли их, да коли этот из поповской чади, так тебе его судить. Сам сказал: к владыке, мол, ведите.

— Коли сын поповский, то моя чадь, — кивнул архиепископ. — Где он у вас?

В дверь пролез кто-то со связанными руками — такой здоровенный, что плечи его едва прошли в проём. За ним втокнули ещё одного, потом вошли двое посадничьих отроков.

— Вот они, господине, оба перед тобой.

— Опять ты здесь? — обратился архиепископ к здоровяку, что вошёл первым. — Как тебя... Воятка?

Если раньше на румяном, округлом лице молодого здоровяка было возмущённое выражение, то теперь, оказавшись перед владыкой, он присмирел и устыдился. Рубаха на плече была порвана, на лице засохла кровь из разбитой брови. Противник его, мужик постарше, выглядел ещё хуже — сломанный нос покраснел и распух, один глаз со-

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

всем заплаыл, рубаха была в пыли и в пятнах; архиепископ дёрнул носом, уловив запах конского навоза.

— Воята я, Тимофеев сын. — Детина лет двадцати, здоровенный, как медведь, смущённо уставился под ноги. — Отец мой служит у Святой Богородицы...

— А по-крещёному как?

— Гавриил...

— А что имя сие значит, ведомо тебе?

Ещё сильнее устыдившись, Воята опустил глаза.

— Значит, «муж Божий», — продолжал епископ. — Святой Архистратиг Гавриил — Божественного всемогущества служитель, добрых вестей податель. Видно, плачет он горько, на дела твои гляючи. Ты-то чем Господу служишь? Помнишь, в Неревском конце той зимой была драка, ты у меня потом сто поклонов в день клаал?

— Помню, владыка...

И в кого только вымахал такой, ещё раз удивился про себя архиепископ. Отец Вояты, поп Тимофей, росту обыкновенного, жена его тоже не медведица, двое старших сыновей — люди как люди. А младшего Господь сотворил здоровенным, что сосна бортевая, и нравом буйного. Оно хорошо в стеношных боях и в драке на мосту, однако не на торгу же. А по лицу видать, что хоть горяч, но не глуп и не лукав, вид смышлённый и честный.

Стыдясь смотреть архиепископу в лицо, Воята не отрывал взгляда от его сложенных рук — с изящными, тонкими кистями, немного опухшими суставами пальцев. Даже эти руки будто дышали умом, прилежанием и благочестием — не то что собственные Воятины кулачищи, в которых бронзовое стило соломиной кажется.

— А на Святки тогда Гюрятину чадь поколотил, — напомнил десятский.

— Так чего они на девок навалились, наших, людинских? Кто их звал?

— А с медведем на прошлую Масленицу зачем сцепился? Помял же скотину бессловесную?

— Те скоморохи сами виноваты! — Воята вскинул глаза. — Сами зазывали с медведем бороться, а медведь-то у них плюгавенький...

Архиепископ едва скрыл усмешку. Вблизи его лицо — щёки впалые, борода и усы светло-русые, без налёта рыжины; большие глаза с темными тенями внизу на бледной коже; у тонкой переносицы, над концами бровей стоячие тонкие морщинки — казалось лицом добродушного человека, который принуждает себя быть строгим, и Воята понадеялся на добродушную сторону владычьеи души. Только светло-русые брови-стрелы от переносицы так резко шли вверх, будто грозили тайком: насквозь тебя вижу!

— Ладно! В сей раз ты что натворил?

— Прости, владыка! — Воята неловко поклонился со связанными руками. — Я б не тронул никого, да Микешка, — он покосился на супротивника, — бранить меня начал, вот тем же самым, что я только кулаками махать горазд, а грамоте-де я не знаю и мне в изгой прямая дорога.

— Прямо так начал бранить, без причины?

— Ну, шёл я по торгу, торг ведь нынче. Мы с Будьшей вдвоём шли, орешков хотели посмотреть. Иду я, через людей так, бочком пробираюсь. А вдруг этот, — он кивнул вбок на Микешку, — как начнёт орать, что-де я его на смерть убил... Убил бы — он не орал бы...

— Да он как толкнул меня, чудище, я аж в лыки отлетел! — не выдержал Микешка. — Я ему говорю: куда валишь, будто медведь, ты гляди, куда прёшь! А ещё, говорю, попович! Куда тебе в церкви служить, ты и грамоте-то не знаешь...

— Сказал, будто мне в изгой прямая дорога! — подхватил Воята. — И меня осрамил, и батюшку, и брата Кирика, что уже дьяконом поставлен к Святому Илье от Нежаты Нездинича, а меня батюшка с ним заодно обучал. Я ему

Часть первая

говорю: ах ты, рожа... — Он запнулся, спохватившись, что перед архиепископом повторять всё, что было сказано, никак нельзя. — Так обидно мне стало, что и не знаю, что сказать. Ну, я его вынул из лык-то и глаз ему маленько подправил, чтобы лучше глядел. Легонько так, чтобы только вежество помнил... А он как кинется на меня, и руками своими молотит, как петух крыльями на навозной куче...

— Сам ты... прости, владыко!

— Я ему врезал под дых, чтоб охолонул. Его и скрючило. Я думаю, пойду восвояси, подобру-поздорову, пока не вышло какого худа, как с теми скоморохами. А он разогнулся, злодей, да как подпрыгнет, как вцепится мне в волосы и давай рвать. Я его, клеща кровопивственного, оторвал от себя и дал раз... или два. Он и отлетел, да прям в горшки Федкины, только черепки брызнули. Чую, на спине у меня кто-то повис. Я его вперёд сбросил, успокоил разок — глядь, а это Федка! И рубаху мне порвал, — Воята двинул плечом, — а рубаха новая, матушка пошила. И такое меня зло взяло, что вынул я Микешку из горшков... А тут отроки, да на плечах повисли сразу двое...

Воята окончательно смешался и потупился. Густые тёмно-русые волосы закрыли высокий лоб, но сквозь них проступала зреющая красная шишка.

— А Микешка меня зря бранил, по вредности, — закончил он. — Я читать могу, и книги святые знаю, и Псалтирь, и Апостол, и Часослов, и писать умею.

— Да уж я наслышан от отца Климяты, все книги в хранилище ты пересмотрел. — Архиепископ посмеялся. — Иди, — он кивнул в сторону стола, — читай. Псалтирь видишь?

Воята, робко ступая, пробрался к столу, где лежала большая книга в кожаном переплёте.

— Развяжи ты его, — велел архиепископ десятскому. — Ты ж, чадо, буянить не станешь больше?

— Не стану, ей-богу, — насупившись от стыда, ответил Воята. — Я ж не коркодил какой...

Десятский подошёл и распутал ремень у него на руках. Воята украдкой потёр запястья, потом вытер ладони о подол рубахи, перекрестился.

— Читай, где открыто! — велел архиепископ.

Воята не наклонился, лишь опустил взгляд с высоты своего роста. Красиво выписанные чёрные буквы тесно сидели в ровных строчках двух столбцов.

— Все видящие мя поругаша ми ся, глаголаша устами, покиваша главою: упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хошет его...¹

— Он на память повторяет, — прошипел Микешка. — А сам и ступить не умеет!

— Цыц! — прикрикнул на него архиепископ. — Слово Божие прерывать вздумал!

— Прости, владыка! — Микешка присел, съёжился, однако торопливо продолжил, не в силах сдержать вредность души: — А только он на память повторяет. От отца наслушался да и запомнил.

— Всем бы так запомнить. Вот что — возьми... Гостиата, дай ему грамоту какую ни то. — Архиепископ обернулся к писарю.

Гостиата, улыбаясь, взял верхнюю из вороха.

— «А ты бы, господин, попа Касьяна, что у Святого Николы Марогощского погоста, поставил нам попом у Святого Власия, — прочёл Воята там, куда Гостиата ткнул пальцем, не так бойко, как из Псалтири, но вполне уверенно. — С тем тебе, господин, челом бьём».

— Вот они что придумали! — Архиепископ вспомнил, о чём шла речь до привода драчунов. — Касьяна? Это он на два прихода будет у них один? Управится ли? Он и в грамоте не боек, на память больше, я слышал...

¹ Псалом Давида 21, 8—9.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Взгляд его упал на Вояту, стоявшего с понурым видом.

— Ну вот... — задумчиво произнёс архиепископ. — Читать ты, чадо, умеешь, так что попрекали тебя зря.

— Так батюшка ж выучил...

— Ещё бы он смиренню тебя выучил, а не только кулаками махать.

— Тут уж не батюшки вина. Я бы хотел, да как начнут меня на задор брать, так нет мочи, будто бес какой толкает.

— Бес молитвой изгоняется. Проси прощения у Микешки, что побои ему причинил.

Воята поджал губы и дёрнул носом. На лице его ясно отразилось возмущение: меня без вины обругали, и я прощения проси?

— А Микешка сам у тебя и у Бога прощения попросит, что понапрасну бесчестил.

— Радуйся, дурак, легко отделаешься! — шепнул Вояте десятский. — Кланяйся и благодари!

Воята вздохнул и послушно поклонился своему обидчику.

— Федка пусть объявит, на сколько вевериц вы ему горшков побили, пусть поп Тимофей разочтётся. О прочем же я с отцом твоим потолкую... — задумчиво добавил архиепископ. — Ну, ступайте.

* * *

Это «прочее» могло означать шестьдесят кун, которые архиепископ должен был взыскать с отца Тимофея. Воята стойко терпел брань и попреки, не столько от отца даже, сколько от старшего брата, Кирика.

— Дубина выросла, прости Господи, а ума как у теляти! — возмутился дьякон. — И правильно тебя Микешка бранил, хоть он и сам дурак! Грамоте ты обучен, да толку от грамоты, когда ума нет! Тебе бы жениться да жить как все люди, глядишь, иподиаконом скоро бы стал. Прознает